



Александр Мельников

Тихий омут

Александр Мельников

Тихий омут

«Автор»

2026

Мельников А.

Тихий омут / А. Мельников — «Автор», 2026

Слышишь? Это поёт карьер. Не ветер. Не вода. Это ритм древнего. Он ищет голоса. Он берёт тех, кто замолчал. Трое стоят у двери: старик, девушка, участковый. У них нет магии. Только слово. Только ладонь на дереве. Только "я держу". Печать слабеет. Вибрация нарастает. Секунды падают, как камни. Кто-то должен остаться на границе. Кто-то должен не отвести взгляд. Ты бы смог? Мистический хоррор в духе Лавкрафта: о том, как обычный человек становится последней стеной между миром и бездной - и какой ценой эта стена держится.

© Мельников А., 2026

© Автор, 2026

Александр Мельников

Тихий омут

Тихий омут

Глава 1. Тело на дороге

Шофёр дальнобойной компании «Северо-Запад Логистик» Геннадий Петрович Лукичёв вёз щебень из Выборга в Гостицы и на повороте у старой кирпичной церкви увидел лежащее на обочине тело.

Точнее, не на обочине — тело лежало на асфальте, поперёк дороги, словно кто-то аккуратно положил его, руки сложены на груди, глаза открыты и смотрят в серое сентябрьское небо Ленинградской области. Девушка. Молодая. Лет семнадцати. Школьный рюкзак — с нашивкой «Гостицы СОШ №1» — валялся рядом, расстёгнутый, из него торчал учебник по литературе и бумажный стакан с какао, наполовину выпитым.

Геннадий Петрович остановил фуру, заглушил двигатель, вышел. Накинул куртку — утро было холодное, градусов пять, с болот тянуло сыростью — и только тогда разглядел.

На лице девушки застыло выражение, которого он не видел за тридцать лет водительского стажа и за пятьдесят два года жизни. Не страх. Не боль. Не расслабленность мёртвого тела. Задумчивость. Будто она в середине разговора со своим внутренним голосом оборвала себя и ушла. Глаза открыты, но не стеклянные — живые, карие, с тёмными точками зрачков, расширенных, как у человека, увидевшего что-то очень близко и очень большое.

Геннадий Петрович присел на корточки. Приложил пальцы к шее. Кожа была прохладная, но не холодная — будто девушка лежала здесь недолго, минут десять, может, пятнадцать. Пульса не было. Дыхания не было. Но тело не выглядело мёртвым. Оно выглядело — пустым. Как дом, из которого вынесли мебель: стены есть, крыша есть, а внутри ничего, и тишина другая, не как в жилом доме.

Он позвонил в полицию. Диспетчер взял трубку через четыре гудка, продиктовал адрес — Геннадий Петрович не знал точного адреса, сказал: «Трасса А-124, поворот на Гостицы, у кирпичной церкви, девушка лежит». Диспетчер помолчал. Потом сказала: «Мы знаем. Выезжаем». И повесила трубку.

«Мы знаем» — это Геннадий Петрович потом вспоминал. Не «выезжаем, ждите». Не «что с ней». А «мы знаем». Будто ждали.

Через двадцать пять минут приехал участковый — капитан Сергей Васильевич Озерцов. Сорок шесть лет, бородатый, в дублёнке не по погоде, с серостью под глазами, которая не проходила ни летом, ни зимой. Худой, но не сухой — жилистый, с длинными пальцами, которыми он вечно что-то перебирал: сигарету, ключи от машины, ручку. Незажжённую сигарету держал в зубах — врач запретил курить три месяца назад, а привычка оказалась сильнее запрета, и Озерцов нашёл компромисс: держать, но не поджигать. Ритуал без результата. Впрочем, результат всё равно был — спокойствие, которое давала сигарета во рту, не зависело от дыма.

Он вышел из «уазика» — белого, грязного, с вмятиной на правом крыле, — не торопясь, застегнул дублёнку, подошёл к телу, встал на колено. Посмотрел долго. Потом снял фуражку и сказал тихо, не обращаясь к Геннадию Петровичу:

— Лика Воронцова.

— Вы её знаете? — спросил Геннадий Петрович.

— Учится тут. В одиннадцатом классе. Хорошая девка была. Тихая.

Озерцов осмотрел тело, не трогая. Руки сложены на груди — не скрещены, а именно сложены, ладонь на ладони, как у иконы. Одежда — джинсы, тёмная толстовка, кроссовки — чистая, без грязи, без крови. На шее — тонкая серебряная цепочка без крестика. На правом

запястье — след от браслета, тонкий, красноватый, будто снимали торопясь. На асфальте — ни следов. Ни крови, ни мочи, ни рвоты. Ничего, что обычно бывает, когда человек умирает не в постели.

— Машина сбила? — предположил Геннадий Петрович, хотя видел: нет.

— Нет, — сказал Озерцов. — Не машина.

Он достал из внутреннего кармана дублёнки блокнот — в кожаной обложке, потёртой, с пятном от кофе. Открыл на чистой странице. Записал: «10.09.26, 06:40. Воронцова Ангелина Сергеевна, 17 лет. Найдена на трассе А-124, поворот на Гостицы. Без видимых следов насилия. Руки сложены. Лицо — задумчивое. Браслет отсутствует. Какао в стакане — остывший, выпит наполовину».

Он записывал всё. Каждый разговор, каждую деталь, каждую странность. Не потому что был дотошным — хотя был, — а потому что в Гостицах странности копились, как ил на дне карьера, и если не записывать, забывалось что-то важное. Не стиралось из памяти, а именно забывалось — словно кто-то аккуратно убирал факты с полок, оставляя пустоты, которые ты даже не замечал, пока не пытался достать.

Озерцов позвонил в райотдел. Сказал: «Нужна следственная группа, судмедэксперт, прокуратура. Похоже, естественная, но не похоже. Разберёмся». Голос его был ровный, без эмоций, как у человека, который давно научился не удивляться, но ещё не научился замечать.

Пока ждали группу, он опросил Геннадия Петровича. Тот рассказал: шёл пустой, возвращаясь из Выборга, скорость семьдесят, туман — нет, сырость, но не туман. Тело увидел издали, метров за двести. Сначала подумал — мешок, потом — бревно, потом — человека. Остановился, подошёл. Жива ли была, когда он подъехал? Нет. Тёплая, но не живая.

— Тёплая? — переспросил Озерцов.

— Ну. Не холодная. Как будто только что легла.

— Может, и легла, — сказал Озерцов, и Геннадий Петрович не понял, шутка это или нет.

Гостицы — посёлок на пять тысяч жителей, тридцать километров от любой станции, со всех сторон окружённый лесом, карьерами и болотами. Центр — продуктовый магазин «У Веры», почта, фельдшерский пункт, школа, дом культуры, который был одновременно баром «Омут»: одно здание, разделённое фанерной перегородкой, — днём пенсионерки играли в лото, вечером мужики пили пиво и смотрели футбол по телевизору, у которого сломан один динамик, так что звук шёл как из-под воды. Баром заведовала Марина Дроздова — женщина тридцати пяти лет, крашенная блондинка, носившая кожаную куртку поверх ночной рубашки, потому что открывала в семь утра, а одеваться ей было лень. Марина знала всё про всех — не потому что сплетничала, а потому что бар — это исповедальня, только без священника и с пивом вместо елеса.

Воли в посёлке не было. Дорога — одна, та самая А-124, шедшая с севера на юг, от Выборга к Гостицам и дальше, в никуда, потому что за Гостицами она превращалась в грунтовую и через семь километров упиралась в болото. Автобус ходил три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, — и если пропустить автобус, можно было идти до станции час сорок минут по лесной тропе, через ельник и мимо заброшенной фермы, где по ночам, по слухам, горел свет, хотя ферма была закрыта в девяносто восьмом и электричество на неё давно отключили.

Карьер — затопленный, бывший гранитный, — лежал в трёх километрах к востоку от посёлка, за лесом, за полем, за заброшенной фермой. Глубина — по разным оценкам, от двадцати до сорока метров. Вода — чёрная, неподвижная, будто кусок антрацита в земле. Не замерзала даже в февральские морозы, когда на посёлке лопались трубы и люди грелись печами. Карьер был государственный, потом — муниципальный, потом — Фёдора Максимовича Волинца, главы администрации, который получил его в аренду на сорок девять лет через схему, которую никто в посёлке не понимал, но все знали, что так. Волынец добывал щебень

на южном берегу, а северный — где вода была глубже, темнее и тише — оставил. «Не трогаем, — говорил он. — Там дно непонятное». Непонятное — в устах Волынца означало: лучше не лезть.

Следственная группа приехала к девяти — судмедэксперт из области, следователь прокуратуры, два оператора. Они работали молча, быстро, по протоколу. Фотографировали, меряли, упаковывали. Судмедэксперт — молодая женщина в синем халате, с короткой стрижкой и тонкими очками — осмотрела тело и сказала следователю:

— Первичная — без признаков насилия. Удушения нет. Травмы нет. Отравление — нужно токсикологию. Внешне — будто сердце остановилось. Но сердце здоровое, по возрасту — не должно было.

— И что? — спросил следователь.

— И то, что мне это не нравится, — сказала судмедэксперт и подписала направление на гистологию.

Тело увезли в райцентр. Озерцов остался на месте, стоял у обочины и смотрел на асфальт, где лежала Лика. Следов уже не было — только мокрый лист берёзы, прилипший к чёрному покрытию, как ладонь к стеклу.

Он поднял лист. Повертел. Бросил. Достал блокнот, записал: «Судмедэксперт: сердце остановилось, но не должно было. Браслет снят. Кто-то снял, либо сама отдала. Какао — у Марины. Надо идти к Марине».

Сел в «уазик», завёл. Двигатель кашлянул, прохрипел, но ожил. Озерцов поехал в посёлок, не включая радио. Тишина в машине была лучше радио — в ней было слышно себя.

Бар «Омут» в девять утра был пуст. Марина протирала стойку тряпкой, которая была грязнее стойки, но это никого не волновало. На стене — плакат «Зенит–Спартак 2:1», год не указан, но плакат выплел так, что не понять, какой это был год. На стойке — чайник, два стакана, бумажный стакан для какао, термос.

Озерцов сел на табурет. Положил фуражку рядом.

— Марин, какао у тебя есть?

— Есть, Сергей Васильевич. Кому?

— Лике Воронцовой. Она приходила вчера вечером.

Марина перестала протирать. Тряпка замерла. Она не подняла глаз, но Озерцов видел: она знала. Не то, что Лика умерла, — это, может, ещё нет. Но она знала что-то. Марина всегда знала что-то, и это «что-то» каждый раз было чуть больше, чем следовало.

— Откуда вы знаете, что она приходила?

— Стакан, — Озерцов кивнул на бумажный стакан на стойке. — Гранёный, с какао. Ты же не пьёшь какао, Марин. И Никифор Степанович не пьёт. Кто-то заказывал.

Марина молчала четыре секунды. Озерцов считал. Он всегда считал паузы — длина паузы говорила больше, чем слова. Четыре секунды — это долго. Это значит, человек решает, что можно сказать, а что нельзя.

— Приходила. Вчера. Часов в семь. Заказала какао. Села вон туда, к окну. Сидела минут сорок.

— С кем говорила?

— Ни с кем. Я же говорю — тихая была. Но... — Марина замаялась. — Тут одна штука, Сергей Васильевич. Странная.

— Давай.

— Она спросила меня: «Марина Сергеевна, а вы когда-нибудь слышали, как карьер поёт?»

Озерцов не шелохнулся. Незажжённая сигарета перекатилась с одного угла рта на другой.

— Поёт?

— Ну. Я говорю — ты что, Воронцова, совсем? А она улыбнулась и говорит: «Он поёт ночью. Если прислушаться. Басом, как дед Никифор, когда пьяный».

Дед Никифор — Никифор Степанович Жилин, сто два года, ветеран, местная достопримечательность. Жил у церкви в домике, который был старше его, — 1911 года, бревенчатый, с печкой и без водопровода. Пил — немного, но каждое утро. И когда пил, пел: одну и ту же мелодию, без слов, басом, низко и ровно, как молитву, которую забыл, но помнит движение губ.

— Что ещё она сказала? — спросил Озерцов.

— Ничего. Допила какао, оставила стакан, вышла. Я в окно видела — пошла в сторону карьера. Не домой. К карьере.

— Дом Воронцовых в другую сторону.

— Вот именно, — сказала Марина и наконец подняла глаза. В них было не страх — настороженность. Как у человека, который слышит шаги на втором этаже, а второго этажа нет.

Озерцов записал. Закрыв блокнот. Допил чай, который Марина налила ему, пока говорила. Встал.

— Марин. Браслет серебряный, тонкий. Лика носила на правой руке. Ты видела его на ней вчера?

— Видела. Всегда носила. Не снимала.

— А когда я нашёл тело — браслета не было. След на запястье красный, будто снимали торопясь.

Марина сжала тряпку. Костяшки побелели.

— Ну так, может, сняла сама. Может, кому-то отдала.

— Кому?

— Не знаю, Сергей Васильевич. Лика последнее время... странная была. Не плохая — странная. Смотрела сквозь людей. Будто видела что-то за ними.

Ликин дом — одноэтажный, деревянный, на улице Озёрной, последней перед лесом. Сад, заросший, яблони, крыльцо с покосившимися перилами. Светлана Николаевна Воронцова сидела на крыльце в телогрейке и тапках, курила. Лицо — не заплаканное, не пустое. Лицо человека, который ещё не понял, но уже чувствует, что понять не сможет.

Озерцов знал Светлану. Её муж, Сергей Воронцов, погиб на карьере шесть лет назад — сорвался с уступа, тело нашли через три дня в воде. Официально — несчастный случай. Неофициально — Озерцов записал тогда: «Воронцов С.А. — лицо отсутствующее, как у Иванова (2019), Кости (2021) и бабки Тимофеевой (2023). Карьер?»

Четыре утонувших за двенадцать лет. Одинаковые лица. Не мёртвые — отсутствующие. Будто человек ещё здесь, но основная часть его ушла и не вернулась.

— Светлана Николаевна.

— Знаю, — сказала она, не поднимая глаз. — Уже знаю. Марина позвонила.

Озерцов сел рядом, на ступеньку. Не торопил. Ждал. Светлана курила, стряхивая пепел в пустую банку из-под горошка. Дым поднимался ровно, без ветра.

— Она вечером ушла, — сказала Светлана. — Сказала — к Елене, уроки делать. Я не проверяла. Она взрослая. Была. — Пауза. — Взяла рюкзак, стакан — нет, стакан не брала, она у Марины купила. Но чужого домой не приносила. Браслет?

— Браслет был на ней, когда уходила?

— Всегда был. Это мамина вещь, бабушкина. Ей бабушка подарила, на крестины. Она никогда не снимала.

— Бабушка — по чьей линии?

— По моей. Моя мама, Нина Платоновна. Она в Гостицах родилась, тут и умерла. В восемьдесят девятом. Утонула. В ванной.

Озерцов посмотрел на Светлану. Та курила и смотрела на лес.

— В ванной?

— В ванной. Сердце остановилось. Лицо — знаете какое? Как у Лики. Такое же. Я тогда маленькая была, но помню. Спокойное. Будто она увидела что-то хорошее и ушла за ним.

Озерцов открыл блокнот. Записал: «Бабка Лики — Нина Платоновна, утонула в ванной, 1989. Лицо — как у Лики, как у всех четверых. Карьер или не карьер — связь?»

— Светлана Николаевна, Лика говорила что-нибудь странное в последние дни? Про карьер? Про звуки?

Светлана затянулась, выдохнула. Дым ушёл в тишину.

— Она говорила мне: «Мама, я слышу, как вода дышит. Ночью. Из-под пола». У нас дом на сваях, подпол открытый, от болота тянет. Я сказала — тебе кажется, Лик. А она: «Нет. Это не кажется. Это — как дед Никифор поёт. Только тише. И из-под земли».

Озерцов записал и это. Потом спросил:

— Никифор Степанович — он давно поёт?

— Давно. Сколько я помню — всегда. Мама говорила — тоже всегда. Бабушка, прабабка — тоже. Он вроде как не один из наших, а из всех. Он — из посёлка. Он — из карьера.

— Что — «из карьера»?

— Не знаю, Сергей Васильевич. Так мама говорила. «Никифор — из карьера». Я не спрашивала, что значит. А теперь жалею.

Озерцов поехал к карьору. Не потому что туда вела улика — потому что туда вёл всё. Карьер был центром, вокруг которого посёлок вращался, как вода вокруг стока. Все дороги, все разговоры, все смерти — всё тянулось к этой чёрной воде.

Он остановил «уазик» на северном берегу, где не добывали, где вода была глубже и темнее. Вышел. Стоял на краю — метрах в трёх от обрыва, — смотрел.

Карьер молчал. Вода — чёрная, гладкая, без ряби, без ряски, без отражений — лежала в гранитной чаше, как глаз, закрытый плёнкой. Тишина была такая, что слышно было, как бьётся собственное сердце. И ещё — что-то. Не звук. Ощущение звука. Как давление перед громом, когда воздух становится плотным и тяжёлым, и ты ждёшь удара, а удара нет — только давление, и оно растёт.

Озерцов достал блокнот. Записал: «11.09.26, 10:15. Северный берег. Карьер молчит, но в ушах — гул. Не слуховой. Костей. Басовый. Ровный. Лика приходила сюда вчера. Зачем?»

Он стоял ещё минуту. Потом — ушёл. Сел в машину, поехал в участок. В участке было пусто, холодно, чайник на плите, радио молчит. Он сел за стол, открыл блокнот на первой странице и перечитал всё, что записал за утро.

Потом взял ручку и написал на отдельном листе:

«Связи: 1. Лика — карьер (слышала пение, приходила вечером) 2. Бабка Лики — карьер (утонула, лицо отсутствующее) 3. Никифор — карьер (поёт, 40+ лет, «из карьера») 4. Отец Лики — карьер (погиб, лицо отсутствующее) 5. Четверо утонувших — карьер (все — одинаковые лица) 6. Браслет — исчез с тела. Кому отдала? Зачем? 7. Какао — последний напиток. Почему какао? 8. Груздев — пропал 1978. Краевед. Записи? Семья?»

Он посмотрел на пункт 8 и подумал: «Груздев. Фамилия знакомая. Где я слышал?»

Не вспомнил. Закрыв блокнот. Зажёг сигарету — первую за три месяца. Затянулся. Дым был горький, чужой, будто он бросал не курить, а жить, и теперь вернулся к этому, как к единственному, что осталось.

Дым шёл к потолку. В окно светило солнце — тусклое, водянистое, как монета, которую держали под краном. Где-то за лесом, за полем, за заброшенной фермой карьер лежал в своей гранитной чаше и молчал.

Но Озерцов знал — молчал он только на языке звуков. На языке костей — пел.

Глава 2. Кассеты

Дождь начался ровно в полдень — не по расписанию, а как будто кто-то наверху просто решил: «Хватит, пусть будет мокро». Он шёл не косыми струями, как в городе, а плотной серой пеленой, будто сама атмосфера Гостиц решила надеть дождевик и не снимать его до ноября.

Сергей Васильевич Озерцов сидел в участке, смотрел на чайник, который кипел уже третий раз, и думал, что если чайник будет кипеть вечно, это станет лучшей метафорой его жизни. На столе лежал блокнот, открытый на странице с перечнем связей: Лика, карьер, браслет, бабушка, дед Никифор, пение... и где-то в середине — фамилия Груздев, которая всё никак не вспоминалась.

Озерцов потянулся за сигаретой, вспомнил, что бросил, и вместо этого взял ручку. Покрутил её. Положил. Снова потянулся к чайнику. И тут дверь распахнулась так, будто её пнули изнутри, и в помещение ворвалась женщина в мокром плаще, с рюкзаком, который весил, кажется, больше её самой.

— Вы капитан Озерцов? — выпалила она, скидывая капюшон. Вода потекла по волосам, по лицу, по воротнику, как будто она не шла по улице, а вынырнула из карьера. — Я Зоя Лагутина. Журналистка. Я приехала про Лику писать.

Озерцов посмотрел на неё, потом на чайник, потом снова на неё.

— А я думал, журналисты сначала звонят, — спокойно сказал он. — Или хотя бы пишут в мессенджер. У нас тут не редакция, у нас тут участок. И у нас тут... — он махнул рукой на окно, где дождь стучал по стеклу, как кто-то очень настойчивый, — ну, вы видите.

— Я звонила, — Зоя стянула перчатки, бросила их на стол, где они приземлились с мокрым шлепком. — Три раза. Гудки. Потом автоответчик: «Абонент временно недоступен». Я подумала: «Ага, значит, точно что-то происходит».

— Значит, вы решили, что если телефон не берёт, надо приехать лично?

— Ну да. Это же журналистика. Или вы думали, мы только заголовки придумываем?

Озерцов хмыкнул. Незажжённая сигарета снова перекочевала в угол рта — рефлекс, который, видимо, не вытравить даже запретом врача.

— Ладно. Садитесь. Только не на стул — он скрипит. И не на подоконник — там голуби.

Зоя села на единственный нескрипучий стул, открыла рюкзак, вытащила папку, блокнот, ручку, ещё одну ручку (на всякий случай), термос, пакет с бутербродами и маленький диктофон, который она поставила на стол с торжественностью, как ставят корону на трон.

— Итак, — сказала она, щёлкнув кнопкой диктофона. — Что у нас есть?

— У нас есть труп семнадцатилетней девушки без следов насилия, — ровно ответил Озерцов. — У нас есть посёлок, который слишком много знает и слишком мало говорит. У нас есть карьер, который, по словам местных, поёт. И у нас есть вы.

— И у меня есть дед, — тихо сказала Зоя. — Анатолий Груздев. Краевед. Пропал в Гостицах в семьдесят восьмом.

Озерцов замер. Ручка, которую он вертел, выпала и покатилась по столу, как маленькая потерянная судьба.

— Груздев... — повторил он. — Вот откуда я знаю эту фамилию. В моих записях она есть. Но я не помнил, откуда.

— Он изучал эти места. Карьер, болота, старые финно-угорские капища. Он говорил, что здесь тонкая граница. Что земля дышит. Что вода помнит.

— Звучит как описание курорта, — пробормотал Озерцов. — Только без бассейна и шведского стола.

Зоя не улыбнулась. Она смотрела на него серьёзно, но в глазах у неё была не только боль — там был азарт. Такой, какой бывает у человека, который десять лет искал ключ к двери и наконец нашёл его в кармане старого пальто.

— Я хочу посмотреть всё, что у вас есть по Лике. И всё, что есть по деду. Даже если это просто заметка на полях.

Озерцов вздохнул. Он знал, что спорить с такими женщинами бесполезно. Они как дождь: можно поставить зонт, можно надеть плащ, но остановить — нельзя.

— Хорошо, — сказал он. — Но сначала — чай. И бутерброды. У меня тут только с колбасой, но зато с чувством вины: колбаса, кажется, просрочена.

Зоя рассмеялась — коротко, резко, как будто сама удивилась, что ещё может смеяться.

Через час они сидели уже не как полицейский и журналистка, а как два человека, которым нужно было просто поговорить, чтобы не сойти с ума от того, что происходит. Озерцов рассказал про браслет, про какао, про лицо Лики — «будто она ушла в середине мысли». Зоя рассказала про деда: как он писал тетради, как снимал на старую камеру, как говорил, что «в этих местах время течёт не по прямой, а по кругу».

— У него были кассеты, — сказала Зоя. — Я нашла их в старом шкафу, когда разбирала вещи бабушки. VHS. И ещё какие-то маленькие, для диктофона. Я не знаю, что на них. Но... я думаю, это важно.

Озерцов потёр переносицу.

— У нас в клубе есть старый видеомagneтофон. Его используют, чтобы показывать выпускные вечера и свадьбы, которые никто не хочет пересматривать. Если кассеты подойдут — можем посмотреть.

— Тогда поехали, — решительно сказала Зоя.

— Сейчас? В такой дождь?

— А когда? Когда карьер перестанет петь?

Озерцов снова хмыкнул, надел дублёнку, взял фуражку.

Дом культуры — он же бар «Омут» — в два часа дня выглядел особенно уныло. Дождь стекал с козырька, как слёзы с ресниц, а вывеска «Дом культуры» и «Бар „Омут“» висели рядом, будто два мира, которые так и не смогли договориться, кто здесь главный. Внутри было тепло и пахло сыростью, старыми газетами и чем-то сладким — то ли вареньем, то ли надеждой. Марина стояла за стойкой, протирая стакан, который уже был чистым, просто ей нужно было чем-то занять руки.

— О, — сказала она, увидев Озерцова и Зою. — Гости. И не просто гости, а с миссией. Чувствую, сейчас начнётся: «Марина, ты что-то знаешь», «Марина, вспомни», «Марина, скажи правду».

— Марина, — спокойно сказал Озерцов, — нам нужен видеомagneтофон. И кассеты, если есть.

Марина подняла бровь.

— Видеомagneтофон? Ты серьёзно? Он там, в подсобке, под коробками с новогодними гирляндами. Его в последний раз включали на юбилей клуба — показывали нарезку с девятиностых, и половина людей в зале заплакала не от ностальгии, а от ужаса.

— Нам нужно посмотреть кассеты деда Зои. Он изучал эти места.

Марина посмотрела на Зою, потом на Озерцова, потом снова на Зою.

— Дед... Груздев? — переспросила она. — Тот самый, который всё про капища говорил?

— Да, — кивнула Зоя.

— Ага, — протянула Марина. — Тогда понятно. Он тут многим не нравился. Особенно тем, кто хотел карьер копать, а он говорил, что нельзя. Что земля не простит.

— Кто именно не любил? — спросил Озерцов.

— Да все, кто тут власть держал. А сейчас — Волинец. Он тогда ещё не был главой, но уже крутился рядом. Говорил: «Этот краевед нам мешает. Он людям головы морочит».

Озерцов записал это в блокнот. Зоя смотрела на Марину так, будто пыталась прочитать между строк.

— А вы... вы что-то помните? — спросила она.

— Помню, что он ходил с камерой. И что однажды он пришёл сюда мокрый до нитки и сказал: «Я видел, как вода шевелится». И не как волна, а как... будто под ней кто-то ползёт.

— И что вы ему сказали?

Марина пожала плечами.

— Сказала: «Толян, ты переработал. Иди выпей чаю». А он сказал: «Это не работа. Это — долг». И ушёл. Больше я его не видела.

В комнате повисла тишина, густая, как суп. Дождь стучал по крыше, будто хотел напомнить, что он всё ещё здесь.

Подсобка была маленькой, тёмной и пахла пылью и старыми книгами. Видеомагнитофон стоял на полке, накрытый клетчатым пледом, как больной кот. Рядом — коробки с кассетами: «Выпускной 1998», «Свадьба Ивановых», «День посёлка 2005». Зоя достала из рюкзака несколько кассет — потёртых, с наклейками, на которых выцветшими буквами было написано: «Карьер. Запись 1», «Болото. Запись 3», «Голос воды».

— Вот, — прошептала она. — Это его.

Озерцов осторожно снял плед с магнитофона, как будто боялся его разбудить.

— Надеюсь, он не кусается, — пробормотал он.

Они вставили кассету «Голос воды» и нажали «Play». Экран загорелся серым, потом пошёл снег, потом — картинка. Чёрно-белая, дрожащая, как будто камера сама боялась того, что снимала.

На экране был карьер. Но не днём, а ночью. Луна висела над водой, как бледная монета, а сама вода... она действительно шевелилась. Не рябью, не волнами — будто под поверхностью что-то двигалось, медленно, тяжело, как огромный зверь, который не хочет, чтобы его заметили. Камера дрогнула, и появился голос — тихий, напряжённый, знакомый:

— «...я не знаю, сколько их там. Но они слышат. Они слушают. И когда ты стоишь у края, тебе кажется, что это ты смотришь на воду. А на самом деле — вода смотрит на тебя. И она запоминает...»

Голос оборвался. Кассета щёлкнула и пошла дальше — но там уже была тишина. Только шум ветра и далёкий звук, похожий на низкий гул.

Зоя сидела, не дыша. Озерцов смотрел на экран, будто пытался разглядеть в шуме что-то важное.

— Это... — начала Зоя, но не смогла закончить.

— Это доказательство, — тихо сказал Озерцов. — Или доказательство того, что дед ваш был не в себе. Или доказательство того, что тут действительно происходит что-то странное.

Он перемотал кассету назад, остановил на кадре, где вода шевелится. Присмотрелся.

— Видишь этот изгиб? — спросил он. — Как будто тень под водой. Не волна. Не отражение. Тень.

— Что это может быть? — прошептала Зоя.

— Не знаю, — честно ответил Озерцов. — Но я хочу это узнать.

В этот момент дверь подсобки приоткрылась, и в щель просунулась голова Аркадия Львовича Мангула, учителя литературы и истории, бывшего профессора философии. Он был в старом свитере, очках на цепочке и с таким видом, будто только что вышел из лекции о смысле бытия и ещё не успел переключиться на реальность.

— Сергей Васильевич, — тихо сказал он. — Я слышал, вы тут кассеты смотрите. Можно войти?

— Входи, — кивнул Озерцов. — Тут как раз место для философских размышлений.

Мангул вошёл, посмотрел на экран, где снова шёл кадр с шевелящейся водой, и вздохнул.

— Анатолий Платонович, — прошептал он. — Я всегда знал, что ты был прав. Просто никто не хотел слушать.

— Вы знали деда? — спросила Зоя.

— Знал. Мы спорили о природе страха. Он говорил: «Страх — это когда ты слышишь, как земля дышит». А я говорил: «Нет, страх — это когда ты понимаешь, что она разговаривает, а ты не можешь разобрать слов».

— И что теперь? — спросила Зоя.

— Теперь, — Мангул посмотрел на Озерцова, — мы должны пойти туда. К карьеру. И послушать.

Озерцов помолчал. Потом достал из кармана блокнот, открыл на чистой странице и записал: «Мангул: „пойти к карьеру и послушать“». Потом поднял глаза.

— Знаете, — сказал он, — я всю жизнь старался держаться подальше от мест, где земля разговаривает. Но, видимо, пришло время научиться слушать.

Глава 3. Голос под водой

Дождь не прекращался — он просто сменил тактику. Вместо плотной пелены теперь он хлестал по крышам, как будто хотел содрать с Гостиц всю краску, всю шелуху, всю видимость нормальной жизни, чтобы обнажить то, что пряталось под ней.

Озерцов и Зоя стояли у края северного берега карьера. Мангул держался чуть позади — не из трусости, а из уважения к пространству: он считал, что к таким местам нельзя подходить шумно. Ветер гнал по чёрной воде мелкую рябь, но рябь эта была не от ветра — она шла из глубины, будто кто-то под водой шевелился, потягивался, просыпался.

— Здесь, — тихо сказал Мангул, — не надо говорить громко. Здесь слушают.

— Слушают что? — прошептала Зоя, хотя сама не знала, почему шепчет. Просто голос здесь казался лишним, почти оскорбительным.

— То, что говорит вода, — ответил Мангул. — Она не поёт, как думают некоторые. Она... перебирает слова. Как человек, который забыл язык, но помнит, как он звучал.

Озерцов сжал в пальцах незажжённую сигарету. Он не курил, но сейчас ему хотелось, чтобы в этом жесте было хоть что-то привычное, хоть какая-то опора. Он смотрел на воду и чувствовал, как по спине ползёт холод, не от дождя, не от ветра, а изнутри — как будто его тело само знало, что здесь что-то не так, задолго до того, как это понял разум.

И тут он услышал.

Сначала ему показалось, что это просто шум дождя, наложившийся на гул ветра. Потом — что это в ушах шумит кровь. Но потом шум стал ритмичным. Басовый, низкий, ровный. Как сердцебиение, только не человеческое. Слишком глубокое. Слишком старое.

— Вы слышите? — спросил Озерцов, не поворачивая головы.

Зоя кивнула. Её лицо было бледным, глаза расширенными, как у человека, который вдруг увидел за привычной дверью другую комнату — ту, которой там быть не должно.

— Это... — начала она и осеклась.

Мангул закрыл глаза. Его пальцы дрожали, но он не прятал их, не сжимал в кулаки — он будто позволял дрожи быть, как позволяют быть холоду, чтобы чувствовать, что ты ещё жив.

— Да, — прошептал он. — Это оно. Это голос. Он не снаружи. Он... внутри. Как будто вода говорит не ушами, а костями.

Озерцов сделал шаг вперёд, к самому краю. Под ногами хрустнул камень, сорвался вниз и исчез в воде без всплеска — просто провалился, как в чёрную вату. И в этот момент голос стал громче. Не звук — давление. Как будто воздух вокруг уплотнился, стал вязким, тяжёлым, и каждое слово, если бы его произнесли, пришлось бы выталкивать из груди с усилием.

Из воды поднялась тонкая струйка брызг — не волна, не всплеск, а именно струйка, будто кто-то под поверхностью провёл пальцем по глади. Она поднялась на метр, зависла... и медленно опустилась, оставив на воде круги, которые не расходились, а наоборот — стягивались к центру, как затягивается рана.

— Не надо, — вдруг резко сказал Мангул. — Не подходите ближе.

Но Озерцов уже не слышал. Он видел на дне что-то. Что-то большое, тёмное, неподвижное. Оно лежало на глубине, и вода над ним не рябила — она была гладкой, как стекло, будто сама природа боялась потревожить то, что внизу.

Он достал блокнот, открыл его, но рука дрожала, и карандаш царапнул бумагу, не оставляя читаемых букв.

«Запись не идёт», — подумал он с какой-то нелепой обидой. Как будто если он не запишет, этого не будет. А если не будет записано — значит, можно будет сказать себе, что ему показалось.

Но это не казалось.

В этот момент из-за деревьев, со стороны заброшенной фермы, вышел дед Никифор. Он шёл медленно, опираясь на палку, но в его походке не было старческой слабости — скорее, в ней была тяжесть человека, который слишком много знает и слишком устал это нести.

— Уходите, — сказал он, не подходя близко. Его голос прозвучал странно — не как голос старика, а как голос, который привык перекрикивать ветер и воду. — Уходите отсюда, пока оно не позвало.

— Кто позвал? — спросил Озерцов.

— Оно, — повторил Никифор, кивая на воду. — Оно не любит, когда на него смотрят. Оно любит, когда его слушают. А когда на него смотрят — оно начинает смотреть в ответ.

— Что там? — спросила Зоя. — Что вы видели?

Никифор посмотрел на неё долго, будто решал, стоит ли открывать дверь, за которой темно и пахнет сыростью.

— Я видел, как вода дышит, — наконец сказал он. — Как грудь поднимается и опускается. Только очень медленно. Один вдох — на три дня. И когда она выдыхает... тогда кто-то уходит.

— Лика, — прошептала Зоя.

Никифор кивнул.

— Она слышала. Она не боялась. Она думала, что это песня. А это был зов.

Озерцов почувствовал, как холод, который полз по спине, добрался до затылка и сжал его, как чья-то тяжёлая рука.

— Надо уходить, — сказал Мангул. — Сейчас. Пока оно не решило, что мы слишком долго смотрим.

Они повернулись, чтобы уйти, но вода вдруг вздохнула.

Это был не звук. Это было движение. Вся поверхность карьера на мгновение поднялась, как кожа на спине огромного зверя, и так же медленно опустилась. И в тот момент, когда вода опускалась, из глубины донёсся звук — низкий, протяжный, похожий на стон камня, который слишком долго держал тяжесть.

Зоя пошатнулась. Озерцов подхватил её за локоть, и в этот момент он увидел: на мокром песке у кромки воды появились следы. Не человеческие. Слишком широкие, слишком глубокие, будто кто-то с тяжёлыми, широкими ступнями вышел из воды... и тут же ушёл обратно. Следы были свежими — вода ещё не успела их смыть.

— Этого не может быть, — пробормотал Озерцов.

— Может, — хрипло сказал Никифор. — Оно иногда выходит. Не целиком. Только чтобы оставить след. Чтобы напомнить.

Мангул наклонился, провёл пальцем по следу, потом поднёс палец к носу. Палец был мокрым, но пах не водой — он пах сыростью, плесенью и чем-то ещё, чем-то древним, как запах старого подвала, где десятилетиями ничего не трогали.

— Это не вода, — сказал он. — Это... оно.

В ту же секунду из воды поднялась рука.

Не человеческая. Толстая, тёмная, покрытая чем-то вроде водорослей или наростов, пальцы длинные, изогнутые, как корни старого дерева. Она поднялась над водой, замерла на мгновение, будто прислушиваясь к воздуху, и медленно опустилась обратно, оставив на поверхности круги, которые снова не расходились, а стягивались к центру.

Зоя закричала — коротко, резко, как птица, которую спугнули. Звук её голоса ударил по тишине, как камень по стеклу.

И вода ответила.

Из глубины поднялся низкий гул, который не был звуком — он был вибрацией, проходившей сквозь кости, сквозь зубы, сквозь грудь. Он был таким сильным, что у Озерцова застучали зубы, а в ушах зазвенело, как от удара по колоколу.

— Бегите! — крикнул Никифор.

Они побежали — не оглядываясь, не разбирая дороги, спотыкаясь о корни, падая и снова поднимаясь. Мангул бежал, прижимая к груди тетрадь Груздева, как будто она могла защитить его. Зоя бежала, закрыв уши руками, но вибрация шла не через уши — она шла изнутри, из груди, из живота, из костей.

Когда они добрались до опушки леса, Озерцов остановился, прислонился к дереву и попытался отдышаться. Его трясло. Не от холода, не от бега — от того, что он видел. От того, что он чувствовал.

Зоя села на землю, подтянула колени к груди и заплакала — не громко, без всхлипов, просто слёзы текли по её щекам, смешиваясь с дождём.

Мангул стоял, глядя назад, туда, где за деревьями темнел карьер.

— Мы разбудили его, — тихо сказал он. — Или оно само проснулось. Но теперь оно знает, что мы здесь.

Озерцов достал блокнот. Рука всё ещё дрожала, но он заставил себя писать. Карандаш царапал бумагу, буквы получались кривыми, но он выводил их чётко, как будто от этого зависело, останется ли он в своём уме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.